

## Ой-ей!

— Вытрехивайся отсюда! Ты понял? Вытрехивайся!

Интеллигентного вида худенькая мадам явно пыталась сказать мне грубость. Выходило очень смешно, и я невольно улыбался. Крупная девочка-подросток рядом с маленькой агрессивной мадам, кажется, была озадачена столь пикантным поведением мамочки и настороженно молчала, поглядывая то на мамочку, то на меня. Я улыбался и говорил что-то доброжелательное, но моя доброжелательность нимало не действовала и худенькая мадам продолжала наскакивать, как маленькая собачонка, с редким упорством повторяя свое нелепое словцо и пугая милицией и ОМОНОм:

— Вытрехивайся! Милиция! Вытрехивайся! ОМОН!

Я упорно улыбался. Наконец мадам успокоилась и вместе с дочкой ретировалась в подъезд ближайшего арбатского дома.

Что делать, мадам! Вы — обыватель. В этом нет ничего предосудительного, но чего хочет обыватель по вечерам? Покоя, покоя и еще раз покоя. Но именно этого на Арбате нет! На Арбате есть бомжи — от них дурно пахнет, у них испитые битые лица, и они любят рассказывать прегрустные истории своих мытарств, если их слушают или хотя бы не гонят. На Арбате есть уличные музыканты — люди с гитарой, мальчик со скрипкой, паренек с гусями, даже джазовый оркестр. Да что — джазовый, симфонический жару дает! Но в основном, конечно, — люди с гитарой.

И эти люди с гитарой, когда напьются, обожают исполнять одну замечательную песню. В этой песне всего два слова, даже не слова, а междометия, но зато каких — «Ой-ей! Ой-ей! Ой-ей!» Так голосят люди с гитарой под вечер, перед самым закрытием Арбата, уже датые в последней степени. И каждый звук отзывается у Вас, мадам, отменной головной болью. И у Вас развивается своеобразная болезнь — аллергия на человека с гитарой. И едва увидев такого человека возле своего подъезда, Вы, сами не очень понимая своей реакции, начинаете наскакивать на него и непроизвольно выкрикивать магические слова — «вытрехивайся», «милиция» и «ОМОН», надеясь, что они помогут. Увы, это уже не просто естественная защитная реакция, мадам, это уже нервное.

Нет, обывателям на Арбате жить нельзя — вредно для здоровья.

Увы, я тоже человек с гитарой, мадам, Ваш невольный аллерген. И хотя я никогда не пою «Ой-ей», и вообще по сути своей человек негромкий, отрицать свое раздражающее действие на Вас, опровергать и доказывать что-то было бы глупо, и поэтому я улыбаюсь. Я мог бы рассказать Вам, мадам, какой особенный на Арбате воздух и как важно бывает для меня постоять здесь, на берегу Арбата, подышать этим легким, веселым зельем. Сбросить старую кожу или не дать нарасти новой — точно не знаю. Просто отметить, что ли. Отметимся и уже на душе легче, веселей как-то глядится и дышится. И жить без этого ощущения легкости вроде бы уже невозможно... Но станете ли Вы меня слушать? Нет, не станете. И я улыбаюсь.

Сегодня я не рассчитываю ни на слушателя, ни на заработок. Сегодня мне не нужны деньги. Я пришел на берега Арбата именно отметить: постоять-посмотреть на мирное течение этой реки, на лица, лица, лица, проплывающие мимо, на небо, небо, небо, раскинувшееся широко, на дома, вставшие дружно. И немного попеть — просто

так, на воздух, освободить дыхание, запертое, потерянное где-то там в душных офисах, за желтушными столами, сделать его легким и глубоким одновременно. Но слушатель — вот он, тут как тут. Маленький такой, а в глазах — весь мир. И маленькая частичка этого огромного мира — я, большой такой дядя, почти великан, от которого льются эти непонятные гармонические звуки, и ножки сами начинают притоптывать им в такт, и не хотят идти дальше, за мамой, и им совсем не скучно снова и снова топтать и приседать, но мама вскоре начинает скучать или, может, у нее кончается пиво в бутылочке, и она торопит сынишку продолжать путешествие дальше, и вот дядя-великан уже остается где-то там, позади. Вот дядя уже забыт. Но это не главное. Главное, что оставленный позабытый дядя хорошо улыбается чему-то, у него теперь по-детски светлое лицо и легкое, глубокое дыхание. И поэтому дяде уже можно отправляться домой.

И один рубль денег на чехле — неважно.

Собственно, мне и надо-то было каких-то полчасака.

Всего полчасака, мадам!

## **Я вам все расскажу**

Вот уже скоро тридцать лет как тянется наш роман, а чувства все не остывают и она, подруга моя верная, не стареет, напротив — хорошеет год от года, как будто Время и не властно над ней вовсе.

Я вам все расскажу.

История эта самая что ни на есть подлинная. Сначала она, подруга моя тайная, выглядела самой обыкновенной — худенькой и невзрачной. Фабричная девчонка, одним словом. И сам я был обыкновенным уличным

мальчишкой, который ради гулянки не задумываясь бросал спортивные секции и музыкальные кружки.

Мы встретились и полюбили друг друга с первого взгляда. Некоторое время мы прятались ото всех. Каждый день я трепетно брал ее на колени и трогал нежно, и так, уединившись, мы долго разговаривали по душам.

А потом мы таскались по подъездам, где одну за одной я курил сладкие болгарские сигареты и пел пацанам разученные только что печальные песенки про иволгу, которая в малиннике рыдает, про журавлика с поломанным крылом и про васильки, васильки, сколько их выросло в поле.

Мы торчали на чердаках, где в портвейн добавлялся зубной эликсир из аптечного пузырька, а то и странное соединение, добытое из клея «БФ», и где раскуривались гаванские сигары, купленные из любопытства, а курильщики потом долго кашляли от одной-единственной затяжки.

Мы запирались в дальних заброшенных сарайках, где одуревшие мальчишки нюхали целлофановые пакеты с тряпочками, пропитанными ацетоном, и еще больше дурели от этого — всюду она была рядом и ничего не боялась, а я все больше влюблялся в ее скромную негромкую красоту и верность.

Прошло десять лет, и моя подруга повзрослела. Она оформилась, стала тоньше в талии и чуть полнее в бедрах — ей это только шло, она стала уверенной и сильной. Повзрослел и я, улетев из родного гнезда вместе с ней — верной моей спутницей.

Ночи напролет мы торчали с ней в лифтовых комнатах студенческой общаги, где итальянская мандолина и русская гармошка с редким нахальством шпарили вместе, а публика восторженно реагировала на все самые сумасбродные импровизации этого странного оркестра, не забывая подогреть себя красным и белым.

Мы запирались с ней в комнатах, где плохонький магнитофон писал на плохонькую кассетку шальные мелодии, рожденные тут же, возле стола, заставленного пустыми банками и бутылками, заваленного колбасной кожурой, хлебными крошками и прочими объедками.

Мы таскались с ней по горам, где орлы кружили над нами, раскинув мощные крылья, от чего становилось немного не по себе, но мы все шли и шли, дальше и дальше, к удивительным долинным рекам с ярко-голубой водой, голубее небес над нами, к заснеженным перевалам и озерам размером с маленькое море, к мощным вершинам на горизонте, снежными шапками плавающим над землей. И я все больше привязывался к ней.

Прошло еще каких-то пятнадцать лет, и моя подруга расцвела. Южной знойной красавицей предстала она передо мной, на такую и смотреть-то не пересмотреть, а уж на руках держать — ! И мы опять полюбили проводить время вдвоем. Мы прятались на кухне и торчали там днями и ночами, изредка выбираясь из дома куда-нибудь к тем, кому, в сущности, не было до нас никакого дела.

Мы возвращались к себе на кухню, нимало не расстроившись по этому поводу — настолько хорошо нам было вместе. И опять беседовали подолгу, вспоминая прошлое, размышляя об увиденном, мечтая о будущем, и весь мир, бывало, лежал у нас на ладони. Но случилось то, что случилось — мы расстались. Оказалось, что оставаться наедине друг с другом бесконечно долго — это утопия. И я ушел.

Я ходил по городу, одинокий и никому не нужный, а она немела от тоски в своем углу, где подолгу стояла нетронутой. Но долго друг без друга мы не продержались. И вот мы на Арбате, мы снова вместе: я и моя подруга — гитара.

## Ветер и холод

На Арбате ветер, ветер и холод.

Ветер весело гонит по арбатской мостовой обрывки газет, пустые жестянки и прохожих. Как будто подметает его невидимой шустрой метлой. Девочки-подростки просят на хот-дог. Они тоненькие, как соломинки. Кажется, если бы у каждой из них был зонтик, стайка мери поппис весело летала бы над Арбатом. Им тринадцать лет, они сбежали из дома, но здесь им холодно и голодно, ведь на Арбате ветер. Ветер и холод.

В переходе парень. Он подстраивает соло-гитару, прислушиваясь к ней и поглядывая по сторонам. Улыбается, но как-то грустно, самому себе. Сумка для денег. Она перед ним, немного выставлена вперед. Начинает играть и играет как гений. Дает жару как Джимми Хендрикс. Но не спасает сегодня его гитара-соло, ведь на Арбате ветер. Ветер и холод.



У театра трое молодых ребят. Стоя в обнимку, они исполняют песню, такую громкую, неуместно веселую, а ветер в небе тучи гонит, как пастух стадо телок, и зол, и молод, и на Арбате ветер, ветер и холод.

Ветер и холод.

## Ветер и холод-2

Двадцать два года жизни, из которых пять лет тюрьмы. Этот парень из Сергиева Посада много повидал. Справка об освобождении, разорванная пополам. Я просто фраер рядом с ним со своей мещанской относительно благополучной жизнью. Да, фраер, кажется, так это у них называется. Но сам парень вежливо спрашивает, можно ли послушать, и присаживается рядом и слушает. Потом спрашивает, в порядке ли у него лицо. Я присматриваюсь. Лицо слегка помято и поцарапано, лицо из драки, но большой беды нет, и я отвечаю, что все нормально.

Ветер и холод на Арбате сегодня. Второй день ветер и холод. Моя гитара давно расстроена. Прохожие бегут мимо, зябко кутаясь на ходу в легкие летние одежды, и в недоумении оглядываются на меня, сидящего на раскладном стульчике недалеко от театра и перебирающего струны капризной испанской гитары. Зачем я пришел сюда? Кому пою? Самому непонятно, ей-ей. Да еще этот парень рядом, с его пьяными полубезумными глазами. «Иду здоровый, двадцатидвухлетний». Он действительно похож чем-то на Маяковского — ладный, высокий, широкий в плечах. Твердые скулы, крепкие кулачищи. Только глаза какие-то горящие, глаза на взводе. Да, те трое поцарапали ему лицо (не сумел уйти от первого удара), но сами они теперь не скоро встанут, а один из них возможно,

не поднимется уже никогда. Мат с языка не сходит, но дам и детей рядом нет, и я не поправляю. Вообще-то я домой иду, парень. Можно ли со мной до метро пройтись? Ну, положим, можно. Черт... Навязался на мою голову. Слушай его теперь. Впрочем, парень вроде неплохой, только пьян уж очень и агрессивен до невозможности, всех на ... посылает без разбору. «Ты кого на ... посылаешь? Ты арбатских на ... посылаешь?» Иди, иди, мальчик отсюда, а то ведь он один раз тебя стукнет и, пожалуй, тебе хватит, убьет. Иди, от греха подальше. Не в себе человек, неужели непонятно? Иди. Ладно, слушаем дальше.

Если бы не мать, тюрьму бы не пережил. Мать приезжала к сыну. Мать привозила сыну посылки. Мать сохранила квартиру после тюрьмы. Мать сына ждала. Все — мать. А где же твой отец, парень? Так-так. Ясно. Сел в шестнадцать, вышел в двадцать один. Безотцовщина. А если бы ты, парень, родился где-нибудь в Швеции или Бельгии, кем бы ты был? Скорее всего, сыном фермера, и из тебя получился бы хороший, хозяйственный мужик. А сейчас ты кто? Мать ты любишь, это видно. А женщин на чем свет стоит клянешь. И нужны-то им одни деньги... А ты думал как? Женщина — она мать. И должна заботиться, чтобы дети ее росли в тепле и уюте. А чтобы создать тепло и уют, нужны они, деньги. Только не надо думать, что деньги — это главное, парень. А вода, а самый воздух, а земля под ногами, а небо над головой — не главное? Я уж не говорю о вере. То-то и оно, парень. Спокойно, трезво надо относиться к этому, нормально — и к деньгам, и к женщинам. Вот именно — трезво, парень. Вот ты, говоришь, водитель. Ты сядешь в машину, в которой тормоза не работают? Положим, сядешь, ты ведь отчаянный. Сформулируем иначе. Ты работаешь водителем. Ты сможешь работать на машине без тормозов? То-то и оно. Когда ты пьян, твои тормоза не работают. Они сломаны тобой, отключены добровольно. Скажешь, не безумие?



Безумие чистой воды. И так, тормоза отключены. И что же? Ты хорошо погулял. Оставил на Арбате пятьсот рублей. Уделал в грязь троих подвернувшихся отчаянных ребят. И не прочь выпить еще, но денег осталось только на обратную дорогу к себе, в Сергиев Посад. И вот у тебя мелькнула шальная мысль задержаться на Арбате до вечера и грохнуть парочку-троечку прохожих, выручив пропитое обратно. Но ты передумал, и я рад этому. Искренне рад, парень. И если я хоть немного помог тебе не сделать этого просто тем, что попался тебе возле театра Вахтангова, как ты сам сейчас говоришь, то я знаю теперь, зачем я сегодня приезжал на Арбат, ей-богу. Знаешь, зря я наверно, постеснялся довести тебя до электрички на Курском вокзале. Ты почему-то поверил мне, а мы в ответе за тех, кого приручили. Да, это стремно как-то, но оно было бы надежнее, мало ли кого ты пошлешь на ... по дороге... А так — ты стоишь на платформе ст. м. Курская, как потерянный, и чего-то ждешь, не уходишь. Поезд трогается. Я поднимаю, прощаясь, руку. И ты поднимаешь руку. Держись, парень, все у тебя будет хорошо! Я уверен. Не пей только. Нельзя тебе пить. И прощай, если что не так.

## **Стихи пишут везде, даже в Генеральном штабе**

И я не вижу в этом ничего плохого. Тем более, что стихи, предложенные мне для прочтения этой подвыпившей женщиной, видимо, занятные. «Видимо», потому что я могу поручиться только за одно стихотворение — то, которое я прочел по ее настоянию. Что-то зимнее, заиндевовшее, что-то настоящее было в нем. Книжка маленькая, но емкая. И наверно, многое можно было бы почерпнуть

в ней искреннего, хорошего, да вот беда — вникать не хочется. Да и в то, что в творениях офицера Генштаба может быть действительно что-то глубокое и легкое одновременно, что-нибудь пушкинское — верится с трудом. А ведь может! Может! Зря я так! Ветер, ветер судьбы, где ты гуляешь, бродяга? Почему одних ты продуваешь насквозь, и они выставлены как гордые флаги? Ими любуются друзья, по ним стреляют враги, а они полощутся горделиво, щеголяют пробоинами и опаленными краями, и даже если подламываются древки или сгорают полотнища, все равно — сгорают они на миру, где даже смерть, как известно, красна. А другие никнут в стоялых омутах обыденности, блекнут и плесневеют по своим углам. И за что? Неизвестно, но это так. Возьмите обратно, мадам. Спасибо.

Я сказал — подвыпившая женщина, и это действительно так. Женщина совсем не пьяна, и, наверно, она действительно работает в Генштабе, и лично знает этого офицера, написавшего книжку стихов, да мне-то что в этом? Ее рассуждения о *настоящей* поэзии, увы, мне неинтересны, это я понял сразу. И дело не в том, что она с ходу начала разбирать меня по своим полочкам (хоть это и очень неприятное ощущение, когда твои строчки раскладывают по чужим полочкам). Дело не в этом хотя бы потому, что чем дольше она слушала, тем меньше разбирала, пока, наконец, этот ученый зуд разбирать и анализировать не пропал у нее вовсе, что само по себе, не скрою, было мне приятно. Этакая маленькая победа над непониманием, неприятием, предубежденностью. Рассуждения сии сильно отдавали поучением — вот в чем дело, а это почти нестерпимо. Галина Уланова сказала в своем последнем интервью — «я устала существовать в таком непонятном искусстве, как балет». Балет — непонятное искусство! Каково? Если бы это сказал человек с улицы, то, конечно, ничего удивительного, но услышать такое от

великой балерины, прожившей в балете жизнь! И еще, там же — «Больше всего я боюсь учить. Говорить, что надо, что не надо. У всех все по-разному. Разные жизни. Разные индивидуальности. Я не знаю, что верно, что неверно. Искусство должно быть красивым. Но никто не может объяснить, что такое красиво». Вот именно: как же можно-с учить, милая женщина? Один такой учитель однажды меня чуть с ума не свел своими поучениями. Вы не имеете права на стилизацию, говорит. У вас нет достаточного жизненного опыта... Бессмысленно нанизываете факты, утверждает... За вашими стихами ничего нет... Позвольте-с, это как же нет, а я? Вот же я, перед вами! Я за моими стихами и есть, а вы утверждаете, что ничего нет. Да еще так категорично. Это что же и меня, значит, нет? Я чуть с ума не сошел. Два дня ходил как приговоренный. Хорошо один добрый человек помог, сказал мне простую вещь про моего учителя, до которой сам я, бедный, не додумался: «А может он просто ...удак?» И тогда я вздохнул с облегчением. Все разъяснилось. Да и сам я хорош был однажды. Давно это было, но вспоминать стыдно по сию пору. Паренек тот первый раз пришел с гитарой на какой-то паршивый конкурс, где, как всегда, строгое жюри и многочисленные отборочные туры, и где сам я зачем-то участвовал. Каким-то образом я оказался на прослушивании этого паренька вместе с одним из членов жюри — хваткой, музыкально подкованной, голосистой дамой, и, признаюсь, стал соучастником этого преступления — поучений, как именно надо писать стихи и петь песни. Паренек сидел опустив голову и молчал. А мы с дамой разглагольствовали перед ним, витийствовали, так сказать, токовали, как глухари на току, самодовольно и глупо. И-эх-ма! Стыдно-то как! Но ведь было, было. И вот теперь я хочу хоть немного испить свою вину и сказать ему, понуро молчавшему, опустившему голову на грудь: друг мой, выше, выше голову! Пиши стихи! И песни свои пой, дружище, пой так, как

находишь нужным. Ищи своего слушателя. Нашел — вот он, твой настоящий учитель, к нему прислушивайся, для него пой. И новые песни, новые темы сами придут к тебе. И голос освободится. И ты сам будешь весело удивляться тому, что с тобой происходит, откуда что берется. Друзья мои, пишите стихи, сочиняйте песни, если вам это нравится! Кто бы и что ни говорил вам — пишите и сочиняйте! Как сердце вам подсказывает и как душа дышит! И главное — не слушайте вы никого, не верьте им! Себе — верьте, им — нет! Горе-учителям и членам жюри — не верьте. Пишите!



## Ни хрена она не нарядится,

так и будет все идти, чем дальше, тем хуже, — сказала Ирина Георгиевна в конце моего монолога под названием «Песня о Родине-2». И я надолго замолчал, положив руки на живую гитару, как на подоконник. Ирина Георгиевна — яркая красивая женщина, ей около пятидесяти, она мама и бабушка. У нее сегодня день рождения, праздник. Она потягивает из баночки алкогольный коктейль, уже не первый, покуривает сигаретки, и настроение у ней что-то грустное. Рядом муж держит огромный букет ее цветов, а вокруг весело бегают Данилка, внук. Ее дочь, Лена, и зять, Саша, — мои давние, с прошлого года, и верные слушатели. Мы ничего не знаем друг о друге, кроме имен. Встречаемся и общаемся время от времени здесь, на Арбате. Они внимательно слушают мои монологи, грустные истории, вместе со мной радуются и печалются. Больше печалются, конечно. Я чувствую себя немного виноватым из-за печали этой постоянной своей и время от времени пишу что-нибудь веселое, даже хулиганское, лишь бы порадовать их, посмешить. И, как ни странно, что-то удается. С ними мне все удается. С ними, моими верными слушателями, я чувствую, что не зря стараюсь, намываю золотой песок слов и звуков — есть кому передать, подарить. А наша страна, Ирина Георгиевна... Что говорить, наша страна постоянно расстраивает нас, не может не расстраивать. История ее за последние два века — во многом история тяжелых утрат и горьких потерь. Горькая какая-то история. Первой тяжелой необъяснимой утратой стал для меня Пушкин, второй — Лермонтов. Все как в школьном учебнике по литературе, скажете вы. Да, все как в школьном учебнике. Если бы только в нем, Ирина Георгиевна! И если бы только Пушкин и Лермонтов! Что такое Аляска, например? Подаренный Америке огромный

золотой прииск. Что такое война с Турцией семидесятых годов позапрошлого века? Подаренные болгарам и румынам свобода и независимость, оплаченные нашей кровью. О чудовищных не компенсированных никем расходах на эту войну и говорить не будем. Ну какое, к черту, может быть всеславянское единство? Ну с чего вы взяли, что оно возможно вообще? Да и зачем оно нам сдалось, единство это всеславянское мифическое, даже если оно и было возможно? И стоит ли оно одетых в белое погибших наших солдат? Нет, все-таки дурашливый мы народ. Себя не жалеем, о себе не думаем. А правильно ли это? Полагаю — нет. А что потом? Русско-японская война, первая война с Германией, война с Финляндией, Халхин-Гол, вторая война с Германией, война в Афганистане, первая чеченская война XX века, вторая чеченская... Не слишком ли много войн, господа?

И все-таки... Не одни мы такие сложные. Как присмотришься повнимательней к европейской истории, так — и-и-и-и! Что ни страна, то своя *история*, в которой с удивлением обнаруживаешь много чего схожего с нашей — и периоды великодержавности, и культурную отсталость, и кровавые революции, и бедность, и те же войны непрекращающиеся. И, знаете, это действует как-то утешительно. И дело не в злорадстве. Просто это означает, что нас не преследует некий объективный злой рок. И не стоит нам уж слишком себя жалеть, плакать над собой, что мы такие бедные-разнесчастные. Просто период такой сложный. Период перемен, в который нам выпало жить. В полном согласии с древним китайским проклятием. Послушайте-ка, а может нас китайцы прокляли? Ладно-ладно, господа китайцы, не обижайтесь, это шутка...

Так что — жива страна! И вера в нее жива, и мне действительно верится, что все-таки жизнь наладится, что кончится эта война и не начнется другая, и что в новое,

мирное платье, снова, как прежде, нарядится наша мама-страна. А как же иначе жить?

## Разговор о музыке

Кто это сказал — там, где начинается голос, кончается музыка? Не знаю. Сам я это услышал от одного гитариста на Арбате. Сказав это, он, попрощавшись, ушел. Чем-то я его уел, кажется. Вот только чем? Тем, что упомянул американский минимализм? Может быть. Зря я, наверно, это сделал, честное слово. Можно подумать я такой уж знаток музыки! Никакой не знаток. Классическая музыка мне нравится, но как-то странно нравится — она оказывает на меня какое-то терапевтическое действие — лечит головную боль, успокаивает нервы, гармонизирует душу. Музыку Штрауса я, положим, узнаю. Баха, само собой, отличу — уж больно у него музыка величавая, гипнотизирующая. Орган, опять же. Инструмент уж больно характерный. Дрожь по спине у меня от одного звучания органа. Хотя, кто мне сказал, что у Баха только фуги и только орган? Не факт. Так что я только фуги Баха и узнаю, пожалуй. Бетховен, «Лунная соната», само собой, хотя какая она к черту лунная? Фантазия это № какая-то там и называть ее лунной сонатой пошло и неправильно, как говорят действительно знающие и любящие музыку люди. Моцарт. Турецкий марш. Па-ба-да-ба-дай... Па-ба-да-ба-дай... Ну и так далее. А вот Шуберта от Шумана уже не отличу. И Рахманинова не узнаю. Что уж говорить о Прокофьеве и Шнитке! Просто нечего сказать мне о них. А тут на тебе — американский минимализм вспомнил! И как это у меня получилось только, ума не приложу. Ну, положим, я читал о нем две-три газетные статьи, уловил

то, что следует из самого названия этого направления в музыке — что композитор умудряется создавать целые пьесы музыкальные чуть ли не на одной ноте, т. е. обходится минимумом музыкальных средств. А слышать — не слышал ничего в таком роде, ни-че-го! Американский минимализм, говорю я ему! Сильный аргумент в споре о том, сколько аккордов надо использовать при написании музыки — три или тридцать три. Вообще-то в чем-то я прав, мне теперь кажется. Просто аргумент был неудачный, не мой, не имел я права на его использование. Моим аргументом могла бы быть русская частушка. Или Высоцкий. «Я три свои аккорда перебрал, запел и запил...» Три аккорда, а сколько глубины и силы, сколько жизни и страсти, а значит и правды. Русские частушки и Высоцкий — тоже настоящая музыка. По-моему так.

## Наташа

сидит передо мной на корточках, курит и смотрит на меня снизу-вверх, мечтательно, почти влюблено — Наташа слушает. Ее кавалер прислонился к стенке дома в двух шагах от нас и канючит время от времени: «Наташа, пойдем... Пойдем, Наташа...» Но Наташа не хочет никуда идти, она хочет говорить по душам под мягкий перебор гитары. Я не знаю, как это так получается, но, когда у меня в руках гитара, женщины смотрят как-то иначе — мечтательно, почти влюбленно, как Наташа. Просто не знаю, куда девать глаза — так они иногда смотрят.



## Так хочется своровать! —

говорят мне ребята, которым пришлось по душе одна музыкальная фраза. Эти ребята профессионалы, у них есть все — инструменты, группа и даже продюсер с выходом на ТВ. У них есть больше — музыкальный «проект». Это сильно. Они не хвастаются этим, нет. Все выясняется как-то само собой, между делом, в паузах между монологами, в разговоре. Еще мы говорим об истоках. Вспоминаем семидесятые, восьмидесятые. «Самоцветы», «Синяя птица», «Голубые Гитары», «Цветы», Игорь Иванов... «Словно плыл рекой широкой, словно плыл рекой широкой, и на самой середине унесла волна весло...» «Как вам меня не жаль, / Ведь старый я рояль...» Какие славные мелодичные легкие песенки! А помните маленькие заезженные пластинки с записями западных исполнителей, хранимые как святыни? Моли-и-и-и-на! Та-да-та-да-та-да! Моли-и-и-и-на! Та-да-та-да-та! Битлз, Роллинг Стоунс, Пинк Флойд... Эх, не силен я в английском. Кстати, такой парадокс наблюдается в нашей стране: все мы, вот уже во втором или третьем поколении, выросли на англоязычной музыке — теперь это уже можно смело сказать, наверное, а английскому языку у нас это помогло мало. Как не знали английского языка, так и не знаем. «Машина времени», «Аквариум», «Воскресение»... Ребята утверждают, что на выходе у меня идет именно оно, Воскресение. Пусть так. Любопытно, кстати, вспомнить, что никто из нас, тогдашних студентов, не сомневался тогда, что группа называется «Воскресенье», то есть как бы выходной день, хотя и странно было немного, что у группы с таким веселым, необязательным названием такие красивые и печальные песни. И только через год-другой стало доходить, что имелось в виду совсем другое. Я даже помню это недоверчивое выражение на лице

моего однокашника, когда я поделился с ним своими догадками. Смех и грех, ей-богу.

Признаться, я тоже пробовал себя, так сказать, в музыке. Точнее — в шоу-бизнесе. Было, было дело. Были мечтания: большая сцена, публика в зале и ты. Гастроли, знаете ли, цветы и все такое прочее рисовалось в воображении. Живая мелодия, отточенные тексты, наличие некоторого голоса — всего этого, мне казалось, достаточно для успеха. Да-с. Для кого-то, может быть, было бы и достаточно, но в моем случае все оказалось пустое, пустее не придумаешь. Я был наивен как дитя, теперь я могу это сказать совершенно точно. Взятся же я за дело основательно. Во-первых, как говорили мне знающие люди, нужно было что-то записать в том виде, в котором это согласились бы прослушать те, от кого зависело теперь мое будущее — господа продюсеры. «Тебе нужен продюсер» — так говорили мне знающие люди. И я им верил. Я искренне полагал, что стоит показать, на что ты способен, и обязательно найдется некий чудесный человек, которому понравится и который поможет. Я же говорю — дитя, сущее дитя!

Итак. Услуги человека с консерваторским музыкальным образованием, работа в студии звукозаписи с режиссером, магнитные ленты, диски какие-то для записи — все это стоило невероятно дорого. Но я не отступился. Я залез в долги и записал-таки одну свою вещицу, после чего и отправился в путешествие по студиям звукозаписи, на поиски чудесного человека.

В первой же студии, куда я попал, мне сказали, что работа интересная, но что им трудно судить по одной композиции. Поскольку на вторую «композицию» средств у меня не было, мои контакты с первой студией этим и ограничились.

Во второй студии мне сказали, что вещица моя очень хороша (я тогда очень обрадовался, помню), и что непременно она будет включена в ближайший готовящийся

к выпуску музыкальный сборник (я обрадовался еще больше). Но далее ничего так и не последовало. Ни в ближайший, ни в самый что ни на есть отдаленный сборник вещица моя так и не попала. Я походил еще некоторое время во вторую студию, но с каждым разом встречал прием все более и более прохладный. Что случилось я понять не мог и вскоре перестал туда ходить, оставив им на память очень дорогую кассетку, требовать которую обратно счел неудобным (с той поры я стал выбирать кассеты подешевле).

Далее была студия, в которой первый (и последний) вопрос был: «А вы от кого, собственно?», после чего кассету, естественно, можно было не оставлять, но, по неопытности и еще по дурацкой привычке рассчитывать на невозможное, я-таки оставил третьей студии кассетку. Безрезультатно, конечно.

Все последующие студии и мои мытарства по ним смешались у меня в голове в совершеннейшую кашу. Помню только, что «материал» везде принимали вполне благосклонно, обещали позвонить «если что», но «если что» не наступало, и я перезванивал сам, после чего, помню, время тянулось месяцами, и, наконец, мне заявляли, что работать с «материалом» не будут, потому что это «не их стиль» или «не их формат», не желая объяснять, что, собственно, имеется с виду. Я не настаивал. Мне вообще было бы достаточно услышать одно слово из двух — «да» или «нет». Определенность — единственное, чего я добивался.

В общем, эта телефонно-кассетная эпопея продолжалась довольно долго. И вот, когда я уже совсем было отчаялся, последовал долгожданный успех — студия, в которой о «материале» отозвались однозначно одобрительно. О, это была вершина моей карьеры в шоу-бизнесе! Сладостные мгновенья! Огонь мечты, как сухой порох, живо вспыхнул в моей груди, и в нем уже начал было сгорать мусор ненавистных серых будней, когда, как гром

среди ясного неба, прозвучал роковой вопрос. Вопрос был, прямо скажем, неожиданный, даже — странный: «Сколько Вам лет?» Я сначала не придал значения, но, как оказалось, напрасно. Это был крах, полный и окончательный крах всех моих надежд. Не будет у меня большой сцены и публики не будет: я стар. Но позвольте, это же неправда! — хотелось мне крикнуть в телефонную трубку. Я молод! Мне тридцать с небольшим, возраст Христа и тому подобное... Еще я хотел объяснить почему-то, что никакой я не лысый и не толстый. Хотя, что с того, что я был бы и толстый, и лысый? Или с бородой, к примеру? Разве в этом дело? Джо Кокер вон давно с бородой, и разве это мешает ему делать Музыку? Да мало ли кто еще! Но я не закричал в телефонную трубку, нет. И ничего не объяснял. Я просто положил трубку на место. Тогда-то до меня и дошло, наконец, что меня обманули, что чудесный человек — фикция, выдумка. Есть я, мое спетое и неспетое, написанное и ненаписанное, а чудесного человека — нет. И, знаете, мне стало как-то спокойно на душе. Прошел душевный зуд, чесотка какая-то оставила ее, и может быть, это была чесотка тщеславия. А может, и не тщеславие никакое, может, та самая наивность непроходимая детская отлетела, но я действительно успокоился.

И вот я думаю теперь, глядя на этих молодых, уверенных в своих силах ребят моего возраста, что, может быть, я тогда сплоховал? Что надо было не опускать рук, искать, доказывать... Но ничего-ничего, еще не поздно, братцы. Я не исключаю, что когда-нибудь, в будущем, я соберу какой-нибудь рок или джаз-бэнд, и мы выйдем на сцену, и дадим такого жару, как будто это и не сцена вовсе, а объятая девственной тишиной лифтовая комната общепита, и нам самим не по семьдесят — семьдесят пять, к примеру, а по семнадцать-восемнадцать. Я ничего не исключаю в будущем!

## Почему бы тебе не попробовать себя в авторской песне?

Вот-вот, ребята, и я так же примерно подумал, когда увидел объявление, наклеенное на стену возле Московской консерватории им. П. И. Чайковского: Фестиваль авторской песни в бард-кафе «*Полет над гнездом кукушки*». Почему бы мне не попробовать? — подумал я.

И я попробовал.

В темном зальчике кафе, где собрались люди с гитарами (очень много людей с гитарами), проходил первый отборочный тур фестиваля. Я очень волновался, конечно, ведь меня ждала сцена. Пусть сцена была очень маленькая, зато вполне реальная. И скоро ей предстояло стать моей.

Первым выступал парень с немного шальными глазами, которые становились еще более шальными, когда он начинал петь. Парень заводился с пол-оборота и пел очень хорошо, с надрывом. И песенки у него были очень зажигательными. В общем, мне понравилось, но почему-то я сразу подумал, что здесь этот номер не пройдет. Да и жюри в составе признанных грандов авторской песни выразительно молчало. Так оно и оказалось впоследствии.

Далее на сцену взошел молодой человек с артистической внешностью: черная шевелюра и черные же печальные глаза, как будто всегда глядящие куда-то внутрь. С ним еще вышла девушка. Крупноватая, но очень женственная, в обтягивающем длинном платье. Девушка присела на второй барный стульчик, специально для нее поднятый на сцену. У молодого человека был, кажется, баритон, и весьма изрядный. У девушки оказался приятный мягкий тембр голоса. Вдвоем они изобразили опять же две песенки (таково было условие конкурса), причем одна из них была чем-то вроде мини-спектакля: откровенный

душевный разговор некоего завсегдадая ночного бара с его очаровательной ночной *tet-a-tet*. Обе песни мне тоже очень понравились. Красивая, артистичная печаль звучала в них. И было очевидно, что уж они-то, эти песни вполне устроили строгое жюри, которое и выслушало их внимательно, и весьма благосклонно сделало одно или два замечания, которые были приняты конкурсантами с благодарностью.

Потом какой-то паренек долго тянул песенку собственного сочинения на плохом английском, и это было мучительно. Но намного мучительней песенки было хихиканье из темного уголка кафе, где пристроились две хмельные посетительницы. Это было самое неприятное. Вторую песенку незадачливому англичанину жюри, кажется, спеть не позволило.

Потом какая-то домохозяйка спела что-то осенне-кухонно-сентиментальное, да простится мне такое определение, но песенка была именно такой.

Потом на сцену вышла девушка с обалденным вокалом, которым она не замедлила воспользоваться на полную мощь, и нежный романс зазвучал как оперная ария, на исполнение которых этот скромный зальчик никак не был рассчитан. Нервы мои и так были на пределе, и такой удар по ним едва не заставил меня позорно сбежать с конкурса, но далее следовало мое выступление, и это меня удержало.

Не чувствуя под собой ног, что называется, я спел первые пришедшие мне на ум вещицы. И надо же было так случиться, что в этом затерянном зальчике оказались люди, слушавшие ту единственную маленькую передачу на маленьком, но достойном радио, на котором мне однажды, довольно давно и совершенно случайно, довелось выступить. И одну из двух спетых вещиц они узнали. И захлопали. И попросили спеть еще. Это было настолько неожиданно и, не скрою, приятно, что на свое место со сцены я пробирался как в тумане. А тут еще этот артист с печальными глазами, выступавший вторым, перебрался

за мой столик в темноте и пригласил выступить на каком-то (каком — я не расслышал от волнения) радио. Я дал ему свой домашний телефон и дальше слушал спокойно, почти отдыхал.

Потом еще было много разных выступлений, но, к сожалению, я мало что запомнил. Помню, правда, парня, который едва выйдя на сцену сходу заявил, что он поэт *русскоязычный*, каковое определение меня немного покорило. Но наш русскоязычный поэт тут же исполнил песню на чистейшем украинском, и это меня позабавило. Помню худенького паренька, который исполнял чьи-то романсы и исполнял замечательно, очень красиво. Помню девушку с чистыми чертами лица русской провинциальной барышни — мягкими, приятными, хорошо певшую о любви.

Когда все участники выступили, жюри предложило желающим спеть что-то еще на свое усмотрение, просто так. Быть рядом со сценой, иметь возможность выйти на нее и не воспользоваться этим — это выше моего разума. Вот тогда-то я в первый раз ощутил... ревность. Да, да самую настоящую ревность со стороны грандов! Гранды элементарно ревновали к слушателю! К аплодисментам! Казалось бы ну из-за чего переживать-то? Ну сидят полтора-два десятка слушателей, ну хлопают кому-то. Им ли, познавшим залы и залищи, ДК и стадионы, зариться на такие пустяки? Ан нет. Здесь действовала какая-то другая логика, понять которую я тогда не мог, пел и пел. Наверно, это был мой первый успех на сцене. Пусть маленький, но — успех. И, возможно, первая ошибка. Тем не менее дальше события развивались по нарастающей: я был приглашен на финальный отборочный тур.

...

На финальном отборочном туре было еще тесней и многолюдней, чем было на первом.

И именно там у меня впервые появилось тягостное ощущение-подозрение, что все это какая-то нелепая, дурацкая ярмарка тщеславий. Тут и там я видел гордые, замкнутые профили конкурсантов, успешно преодолевших первый тур, их орлиные взгляды, устремленные на сцену. Толчея, толкотня. Дрожащие от напряжения нервы и сладостное ожидание успеха. Что говорить, наверное, я и сам переживал отчасти нечто подобное, если смог это уловить, почувствовать, но от этого всеобщего дрожания-ожидания я впал в какое-то странное уныние. Помню, что вышел тогда на улицу, присел у стеночки и стал играть и петь сам себе и редким прохожим. Наверно, тогда-то я и почувствовал первый раз прелесть свободного исполнения — пения на улице: небо, воздух и ты.

Потом я все-таки вернулся в кафе, снова погрузившись в сладостный чад тщеславия, горький дым иллюзий, и отпел свое, а, отпев, сразу же ушел, не дожидаясь результатов заседания жюри и испытал потрясающее облегчение от вечерней прохлады улицы.

На душе моей было легко и свободно, когда я шел по Большой Никитской, а потом гулял по Красной площади, а потом вышел на набережную, встал у парапета и долго-долго смотрел по сторонам: на Москва-реку, на Кремль, на сталинские высотки и каменные мосты. Насмотревшись и надышавшись вволю, я отправился домой, решив забыть обо всем поскорее и более на сей счет не беспокоиться.

## **Но не тут-то было**

Однажды поздним вечером раздался телефонный звонок, и на другом конце провода веселый мужской голос



пригласил меня выступить в Политехническом, на заключительном концерте фестиваля. Это означало, что я стал лауреатом. И я согласился.

И тут началось — эта чертова нервная лихорадка снова охватила меня. То, вспоминая непонятное веселье пригласившего голоса, я пугал себя тем, что это чей-то глупый розыгрыш. То уверял, что — чья-то ошибка. И все-таки в назначенный день я был у дверей Политехнического с гитарой за спиной. Смешно сказать, но опасаясь, что меня не пустят, я заранее купил входной билетик. Он у меня до сих пор хранится в ящике письменного стола.

Лауреатов было четверо: та самая милая провинциальная барышня с песней о любви, тот самый худенький паренек с восточными чертами лица — прекрасный исполнитель романсов, неизвестный мне важный господин с брюшком, рыжей бородкой и блеклыми, выпуклыми, как у рыбы, глазами, и я, высокий худой тип с нервически бледным лицом. Разместили нас на сцене, вместе с грандами. Сцена приятно пахла чем-то. Кажется, это был запах из детства — запах свежeweымытых деревянных половиц в родном доме. А вокруг в пугающе большом количестве бродили известные барды. На нас, лауреатов, они не обращали никакого внимания, что было естественно. Мы же невольно сбились в кучку и с любопытством осматривались. Вот пожилой мужчина небольшого роста, худенький как подросток, седой как лунь, которого я никогда раньше не видел, но который почему-то кажется знакомым. Ба! — так ведь это же патриарх жанра! Он, конечно, выступает первым. Он и должен выступать первым, хотя бы потому что *эту* его песню знают все без исключения. Вот очень известная дама. Она выступает второй, потому что куда-то торопится (слышал случайно ее реплику за кулисами). Пожалуй, это одна из немногих женщин-бардов поэтического уровня. Ну, а кроме того — многодетная

мать, что само по себе достойно всяческого уважения. А кроме того, увы, — это тетенька в черном брючном костюме с короткой стрижкой, в которой с трудом узнается та красавица с длинными распущенными волосами и большущими мечтательными глазами, которую я видел когда-то давным-давно по телевизору. Увы-увы, время беспощадно ко всем, особенно же к красивым женщинам. Спела она замечательно. Вот видный мужчина — бард из известнейших, человек, по виду обаятельно улыбчивый и добродушный (он-то и вел концерт). Он, наверно, тоже споев свою знаменитую песенку, прописавшуюся даже в анекдотах. Вот седой мужчина в очках, тоже знакомое лицо и фамилия. После его выступления у меня осталось явственное ощущение, что он пишет очень сложные, философски-сложные вещи. И как бы он ни шутил сам по этому поводу, слушать их тоже достаточно сложно. Держит в напряжении. Впрочем, много ли я слышал-то? Две или три песенки, всего ничего. Зал слушал их внимательно и чутко — это главное. Я вообще позавидовал аудитории бардов — благодарная аудитория. Она смеется там, где следует смеяться, и трепетно замирает, где следует именно трепетно замереть. И еще эта приятная глазу полумгла в зале и лица слушателей, светящиеся в этой полумгле, как свечки. И концерт мне очень понравился. Там, в зале Политехнического, куда я тихо перебрался со сцены во втором отделении (сбежал попросту), впервые в жизни оказавшись на концерте бардовской песни, я убедился, что эти ребята, в большинстве своем, — настоящие профессионалы в своем жанре. Они хорошо играют на гитарах и зажигательно поют. Тексты разные, конечно, попадаются, но уж во всяком случае контакт и взаимопонимание с публикой полнейшие. А важнее этой вещи для артиста, наверно, и нет. Ну и еще в том я убедился, что мы — молодежь — никому здесь не нужны. Я ведь видел, как мой коллега — исполнитель романсов — пытался

напомнить о себе тому самому барду из известнейших и чем это кончилось — рассеянный взгляд барда и проход дальше, мимо, сквозь. И хотя у каждого из нас, лауреатов, записали домашние телефоны, а я опять по скверной своей привычке сунул кому-то кассетку — я уже ни на что не рассчитывал. Я увидел вдруг, что все эти люди с гитарами, гудящие вокруг, как улей, непрерывно общающиеся, курящие, галдящие, смеющиеся, обсуждающие свои очередные успешные гастроли, рассказывающие анекдоты, если и не друзья, то — большие приятели. Но как можно взять и стать другом? Или даже приятелем? Не знаю. Помоему, это невозможно. Поэтому с концерта того я ушел спокойный, не обманываясь несколько на счет будущего возможного сотрудничества.

Именно тогда я решил не участвовать больше в конкурсах. И именно тогда я по-настоящему влюбился в сцену. И до сих пор по ночам в снах своих я слышу иногда ее запах. И не могу отказать себе в этом маленьком счастье: при случае выходить на нее, на сцену, пусть даже самую маленькую и непутевую.

## **Дядя с диктофоном и девушка с красивыми ресницами. Что общего?**

Солидный дядя простоял возле меня около часа, пока в его диктофоне не закончилась кассета. Это всегда пожалуиста. Но вот солидный дядя оставляет свою визитку, а это-то зачем? Зачем мне его визитка? Для чего я буду ему звонить? Что я ему скажу, когда позвоню? Помните, на Арбате вы простояли возле одного человека с гитарой больше часа и записывали все, что он делал, на диктофон, так вот это был я? Пообщаемся, сказал дядя. На какой

предмет, простите? Глупо это все как-то, согласитесь. Я беру визитку, но звонить не буду. Наверно не буду. Не люблю я слова «нет», не люблю отказываться от чего бы то ни было окончательно и бесповоротно, хотя иногда это и приходится делать. Вот например, понравилась вам одна девушка. Ресницы красивые. Натура чистая, детская. Приятно пообщаться — погулять, поговорить о разном. Ну и запала в душу, как говорится. И вот вы не пересекаетесь с ней нигде один год, второй, но сами нет-нет, да вспомните, нет-нет да подумаете, помечтаете — а хорошо бы, мол, встретиться, посидеть-поговорить. Все-таки душа чистая и ресницы прямо-таки удивительные... И вдруг, как это бывает в плохих мелодрамах, на третий год вы случайно встречаетесь с ней. Какая перемена! Да, ресницы те же, но в остальном... В остальном перемена ужасная — практичность в суждениях, властность в манерах и даже в том как она поднимает красивые длинные ресницы, собираясь взглянуть на вас, чудится что-то командирское. Невыразимо грустно, но кажется мне, милая моя, это тот самый случай, когда надо сказать себе такое тяжелое и такое нужное слово «нет» — нет ничего, все растаяло, испарилось куда-то, а, может, и вовсе не было.

## **Фестиваль (ночь первая)**

Дышать, наверное, скоро будет нечем. Дым тысяч костров и чад разгорающейся пьяной ночи, первой моей ночи на Фестивале. К мату-перемату я, кажется, уже привык и почти не реагирую. К толпам полупьяных подростков еще нет. Дико пока как-то.